

Ромашки
ДЛЯ НАТАШКИ

ЕКАТЕРИНА МОРДВИНЦЕВА

Екатерина Мордвинцева Ромашки для Наташки

<https://litres.ru/74211492>

Аннотация

Быть врачом — это призвание. Быть заведующей отделением — ответственность. Быть невестой своего бывшего пациента — вызов всем правилам. Наталья справляется со всем, кроме одного: как перестать считать пульс мужчины, которого любишь, и начать просто доверять его сердцу?

Содержание

Пролог	4
Глава 1	31
Глава 2	52
Глава 3	71
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Пролог

Субботнее утро, 8 марта

Будильник зазвенел в 5:45, как всегда. Как всегда, я протянула руку, не открывая глаз, нащупала холодный корпус телефона и сдвинула ползунок «отбой» куда-то в сторону бесконечности. В комнате было серо — мартовский рассвет только начинал разливать по небу бледно-розовые чернила, но они тонули в тяжелых облаках, обещавших то ли мокрый снег, то ли просто бесконечную хмарь.

Я лежала, глядя в потолок, и перебирала в голове расписание. Обход. Обход. Анализы. Консилиум по сто третьему — у него вчера вечером подскочило давление. Потом... потом что? Потом будет еще один обход, и, если повезет, я успею выпить чашку кофе, пока он не остыл до состояния теплой бурой жидкости, которую пить уже невозможно, но все равно пьешь, потому что надо.

Пятнадцать минут на сборы. Душ, зубная щетка, минимум косметики — тональный крем, чтобы скрыть синеву под глазами, тушь, чтобы не выглядеть совсем уж бесплотной тенью. Волосы собраны в высокий хвост — так удобнее, не лезут в лицо, когда наклоняешься над картой больного или слушаешь дыхание легкими фонендоскопом.

Квартира встретила меня тишиной. Однушка на девятом этаже панельной высотки, которую я сняла два года назад,

когда перевелась в эту больницу. Здесь было чисто, стерильно почти, как в операционной, — я не выношу беспорядка. На подоконнике стоял единственный цветок — старый кактус, подаренный медсестрой Ирочкой «чтобы хоть какая-то зелень была». Кактус, кажется, был бессмертным. Я поливала его раз в две недели, и он это мужественно переносил.

На кухне я включила чайник, достала из холодильника йогурт и заставила себя съесть три ложки. Желудок привык к такому режиму — не бунтовал, не требовал большего. Кофе я налила в термокружку — серую, поцарапанную, с едва различимой надписью «Лучший доктор». Ее подарили пациенты на прошлый Новый год. Целая делегация из трех пенсионеров с гипертонией, которые пекли пироги прямо в палате, нарушая все мыслимые санитарные нормы, но делали это с такой теплотой, что у меня не поднялась рука их ругать.

Термокружка, ключи, телефон, маленький пакет со сменной обувью. Я взглянула на себя в зеркало в прихожей. Женщина тридцати двух лет в темно-синих брюках, белой блузке и черном удлиненном кардигане смотрела на меня спокойно и устало. Светлые волосы, убранные в хвост, серые глаза без блеска, тонкие губы, сжатые в привычную линию сосредоточенности. Красивая? Наверное. Раньше, в студенчестве, мне говорили это чаще. Теперь говорят реже, но я не жалеюсь. В моей профессии красота — не главное. Главное — руки. Чистые, уверенные, спокойные руки.

Я вышла из квартиры в 6:35. Лифт пах капустой и старым

табаком — вечные запахи панельных домов. На улице было сыро, под ногами хлюпала каша из снега и воды, небо нависало низко и тяжело, как мокрая вата. Март в этом городе всегда был обманщиком — в календаре весна, а на деле последние судороги зимы.

Метро работало в обычном режиме, хотя утром 8 Марта народу всегда меньше. Мужчины отсыпаются после корпоративов, женщины готовятся к празднику. Я ехала стоя, прислонившись плечом к двери, и смотрела в тоннель, где мелькали огни. В голове прокручивались цифры: давление сто третьего, сахар шестого, дозировка инсулина для второго. Мозг работал как отлаженный механизм, перебирая данные, анализируя, сопоставляя. Это называлось «клиническое мышление», и я им гордилась.

На выходе из метро меня толкнул мужчина с огромным букетом мимоз. Желтые пушистые шарики осыпали меня пылью, мужчина что-то невнятно извинился и побежал дальше, прижимая цветы к груди так, будто это был самый ценный груз в мире. Я отряхнула кардиган, поймала себя на мысли, что в последний раз мне дарили цветы... когда? Я даже не могла вспомнить. Кажется, на последнем курсе университета. Однокурсник, который пытался за мной ухаживать, принес огромный букет гладиолусов — таких, знаете, торжественных, парадных. Я тогда сказала, что гладиолусы — это цветы для учителей, и он обиделся. Больше цветов не было.

Больница встретила меня запахами. В этом запахе нет ничего специфического, если вы не медик. Для непосвященного — это просто «больничный запах», что-то вроде смеси хлорки, лекарств и чего-то неуловимо тревожного. Для меня это был запах работы, безопасности, контроля. Здесь я знала, что делать. Здесь мир подчинялся правилам, а правила я выучила наизусть.

Раздевалка находилась на втором этаже, в конце коридора, мимо ординаторской. Я быстро переобулась, натянула белый халат — идеально выглаженный, сшитый на заказ, чтобы сидел по фигуре, а не болтался мешком, как у многих. Смену принимала от ночного дежурного врача — Леночки Смирновой, молодой интерн, которая смотрела на меня с обожанием и легким испугом.

— Наталья Сергеевна, доброе утро! С праздником вас! — Леночка протянула мне открытку — дежурную, с тюльпанами на обложке. — Это от коллектива.

— Спасибо, — я взяла открытку, мельком глянула на подписи. Все свои. — Как ночь?

Леночка начала докладывать быстро, чуть сбивчиво, как всегда, когда волновалась. Она была хорошим врачом, но неуверенность портила. Два поступления, одно — с инфарктом, мужчина, пятьдесят шесть лет, состояние стабильное. У сто третьего давление нормализовалось к трем утра. В четвертой палате — тихо, все спят.

— В пятой? — спросила я, открывая журнал. Пятая пала-

та была для меня особенной. Там лежал мужчина, которого я вела уже вторую неделю, и его состояние вызывало у меня легкое беспокойство, которое я не могла объяснить даже себе.

— Михаил Владимирович? Спал беспокойно, медсестра давала успокоительное в два часа. Но давление в норме, пульс — шестьдесят восемь.

— Хорошо. Я сейчас начну обход.

Леночка кивнула и ушла переодеваться. Я осталась в ординаторской одна, села за стол, открыла карты. Утренний обход — это святое. В восемь утра я обхожу палаты, разговариваю с каждым пациентом, смотрю в глаза, слушаю жалобы, принимаю решения. Мои пациенты знают: если Наталья Сергеевна сказала «доброе утро», значит, все будет хорошо. Я не умею говорить это по-другому.

Перед выходом я подошла к зеркалу, висящему в углу ординаторской. Поправила халат, проверила, не выбилась ли прядь из хвоста. В зеркале отражалась женщина в белом, с серьезным лицом и прямым взглядом. Моя мама, если бы она меня сейчас видела, сказала бы: «Натали, улыбнись, сегодня праздник». Но мама была в другом городе, и улыбаться мне пока не хотелось.

Я взяла фонендоскоп — он висел на спинке стула, как всегда, — и вышла в коридор.

Коридор кардиологического отделения был длинным, с выкрашенными в бледно-зеленый цвет стенами и казенными

люминесцентными лампами под потолком. В семь утра здесь было тихо, только редкие шаги медсестер и приглушенный звук телевизора из какой-то палаты — кто-то из пациентов смотрел утренние новости.

Первая палата. Двое мужчин, оба после инфаркта. Я зашла, поздоровалась, спросила о самочувствии. Тот, что помоложе, — Вадим, сорока трех лет, водитель дальнбойщик — жаловался на слабость. Я послушала его, объяснила, что слабость — это нормально, организм восстанавливается. Второй, дед Сережа, как я его про себя называла, семидесяти двух лет, бодрился, рассказывал анекдот про гаишника и скорую. Я улыбнулась вежливо, отметила в карте, что все стабильно, и пошла дальше.

Вторая палата. Пожилая женщина, Марья Ивановна, с мерцательной аритмией. Она встретила меня жалобой на то, что «молоко в буфете несвежее». Я записала жалобу, хотя знала, что молоко привозят каждый день. Марья Ивановна любила жаловаться, это было ее способом общения. Я выслушала, кивнула, пообещала разобраться.

Третья палата. Мужчина с гипертоническим кризом, поступил вчера вечером. Состояние улучшилось, давление снизилось, он спал, и я решила его не будить. Медсестра записала показатели ночью — все в норме.

Четвертая палата. Двое пожилых мужчин, оба тихие, спокойные. Один читал книгу в очках с толстыми линзами, второй смотрел в окно на серое небо. Я спросила о самочув-

ствии, оба ответили односложно: «Нормально». Я проверила давление, пульс, сделала пометки в картах.

И наконец — пятая палата.

Я остановилась перед дверью на секунду, перевела дыхание. Пятая палата была одноместной — привилегия, которую я иногда выбивала для пациентов, нуждающихся в покое. Сейчас там лежал Михаил Владимирович. Я помнила его историю: тридцать четыре года, архитектор, поступил с инфарктом миокарда две недели назад. У нас, в кардиологии, такие пациенты — не редкость, но этот был особенным. Не потому, что тяжелый. Наоборот, он шел на поправку хорошо. Особенным он был по другой причине.

Я вошла.

Палата была небольшой, но уютной — насколько может быть уютной больничная палата. Кровать у окна, тумбочка, стул, раковина в углу. На подоконнике стояла небольшая коробка с карандашами и стопка бумаги — я разрешила ему рисовать, это помогало отвлечься от тревожных мыслей.

Михаил сидел на кровати, откинувшись на подушки, и смотрел в окно. На нем была стандартная больничная пижама — синяя, с белой полоской, — но почему-то на нем она не выглядела казенной. Может быть, из-за плечей — широких, несмотря на болезнь, или из-за того, как он сидел — прямо, спокойно, не сутулясь. У него были темные, чуть выющиеся волосы, не слишком короткие, и профиль, который я, если честно, иногда ловила себя на мысли, что он красивый. Но

это были непрофессиональные мысли, и я их быстро гасила.

— Доброе утро, Михаил Владимирович, — сказала я, закрывая за собой дверь.

Он повернул голову, и я встретила с его глазами. Серые, с темным ободком, очень внимательные. За две недели я привыкла к этим глазам — в них не было ни страха, который я часто видела у пациентов, ни агрессии, которую проявляли некоторые мужчины, попавшие в больницу и оттого чувствующие себя уязвленными. В них была спокойная, взрослая грусть, и еще — какой-то свет, который я не могла определить словами.

— Доброе утро, Наталья Сергеевна, — ответил он. Голос низкий, чуть хриловатый — следствие успокоительного, которое ему дали ночью. — С праздником вас.

— Спасибо, — я подошла к кровати, взяла карту, висящую на спинке. — Как спалось? В карте написано, что вы просыпались.

— Да, немного тревожился. Ничего страшного.

— О чем тревожились? — спросила я профессиональным тоном, но в душе уже знала ответ. Мы говорили об этом на прошлой неделе — его тревожило будущее. Работа, которую он оставил на середине проекта. Строительная площадка, на которой его ждали. Дом, в который он вернется один.

— Да все о том же, — он слегка улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки. — Но вы же сказали, что тревога — это плохо для сердца.

— Сказала. И повторю. Вам нужно учиться переключаться. Рисование помогает?

— Помогает. — Он кивнул в сторону подоконника. — Я вчера нарисовал вид из окна. Хотите посмотреть?

Я не хотела. У меня был обход, за мной ждали еще пятнадцать пациентов, а потом нужно было заполнять карты, корректировать назначения, обсуждать с заведующим сложные случаи. Но он смотрел на меня с таким спокойным ожиданием, что я не смогла отказаться.

— Покажите, — сказала я, откладывая карту.

Он протянул руку к подоконнику, взял лист бумаги и подал мне. Это был набросок, сделанный простым карандашом. Я не разбиралась в рисунке, но даже мне было понятно: он умеет. Вид из окна — крыша соседнего корпуса, голые деревья, клочок серого неба — был передан не просто как картинка, а как настроение. Тоска по теплу, ожидание перемен, ощущение, что где-то там, за этим серым небом, все-таки есть солнце.

— Хорошо, — сказала я, возвращая рисунок. — Вам талант помогает отвлекаться от тревоги.

— Да. Только здесь, — он слегка кивнул на окно, — природа не очень вдохновляет. Все серое.

— Весна придет, — сказала я стандартную фразу, которую говорят все врачи всем пациентам, когда хотят подбодрить.

— Придет, — согласился он, но посмотрел на меня так,

будто я сказала что-то большее, чем просто дежурное утешение.

Я взяла фонендоскоп, приложила к его груди. Он послушно задержал дыхание, потом выдохнул. Сердце билось ровно, чисто, без шумов. Я слушала и чувствовала под пальцами тепло его тела через тонкую ткань пижамы. Это было нормально — я слушала сотни пациентов, это моя работа. Но почему-то именно сейчас я поймала себя на том, что считаю удары дольше, чем нужно.

— Хорошо, — сказала я, убирая фонендоскоп. — Давление?

— Сто двадцать на восемьдесят, — ответил он. — Медсестра измерила в шесть утра.

— Отлично. Сегодня еще сдадите анализы, и если все хорошо, начнем готовиться к выписке.

— Выписка, — повторил он, и в его голосе я не услышала радости. Обычно пациенты ждут этого момента с нетерпением. Он же сказал это так, будто речь шла о чем-то не очень приятном.

— Вас что-то беспокоит в связи с выпиской? — спросила я, стараясь, чтобы вопрос звучал профессионально, а не как личное участие.

Он помолчал, глядя в окно. Потом сказал:

— Не знаю. Наверное, страшно возвращаться. Там все напоминает о том, что случилось. Как я... ну, вы знаете.

Я знала. Я читала его историю. Инфаркт случился на

стройке, в одиночестве, поздно вечером. Он успел вызвать скорую, но пока они ехали, успел пережить несколько минут, которые, как он мне рассказывал на прошлой консультации, показались ему вечностью. Он лежал на холодной земле, смотрел в небо и думал, что это конец.

— Это нормально, — сказала я. — После такого страшно возвращаться. Но вы справитесь. Вам нужно будет соблюдать режим, принимать лекарства, избегать стрессов. Я дам подробные рекомендации.

— Избегать стрессов, — он усмехнулся. — На стройке. С подрядчиками, которые срывают сроки, и заказчиком, который звонит в семь утра.

— Значит, нужно научиться не брать на себя все. Делегировать. Дышать. — Я говорила это, понимая, что сама не умею делать ни того, ни другого. Но для пациента — другое дело.

— Вы умеете? — спросил он неожиданно.

Вопрос застал меня врасплох. Я посмотрела на него, он — на меня. В его глазах не было вызова, только искреннее любопытство.

— Я врач, — ответила я после паузы. — Моя работа — следить за здоровьем пациентов. О своем я как-нибудь сама позабочусь.

— Понятно, — сказал он, и в этом «понятно» прозвучало что-то, что заставило меня почувствовать себя... неловко. Будто он прочитал во мне то, что я прятала ото всех, включая

себя.

Я взяла карту, сделала пометки: давление, пульс, жалобы. Моя рука писала ровно, каллиграфически, как учили в медицинском — чтобы каждый почерк мог разобрать.

— Сегодня восьмое марта, — сказал он, когда я уже повернулась к двери.

— Да, — я обернулась. — И?

— И я хотел вас поздравить. По-настоящему.

Он протянул руку к тумбочке, достал что-то, что я не сразу разглядела. Потом я увидела: это были цветы. Небольшой букетик, завернутый в прозрачный целлофан. Ромашки. Обыкновенные полевые ромашки, маленькие, с белыми лепестками и желтыми серединками. Их было штук пятнадцать, не больше, и они выглядели скромно и даже немного потерянно в больничной палате с ее казенной обстановкой.

Я замерла.

— Я попросил медсестру купить, когда она утром выходила в аптеку, — сказал он, и в его голосе я вдруг услышала что-то мальчишеское, почти смущенное. — Я не знаю, что дарят врачам. Но мне показалось, что розы — это слишком пафосно, а мимозы... ну, мимозы желтые, а вы... — он запнулся. — Вы больше похожи на ромашку.

— На ромашку? — переспросила я. Голос прозвучал глухо, не мой.

— Ну да. Светлые волосы, серые глаза. И вы такая... светлая. Несмотря на халат. — Он протянул букет. — Это вам.

С праздником. Спасибо, что вы меня... ну, вытащили.

Я стояла и смотрела на ромашки. Мои руки не двигались. В голове был странный шум — не медицинский, не профессиональный, а какой-то другой. Тот, который я не слышала уже много лет.

— Наталья Сергеевна? — он чуть наклонил голову. — Вы не любите ромашки?

— Люблю, — сказала я, и голос вдруг сел, как у подростка. — Просто... не ожидала.

Я взяла букет. Пальцы слегка дрожали — я надеялась, что он не заметил. Цветы пахли горьковато-свежо, по-весеннему, хотя откуда в марте мог взяться этот запах поля и солнца — непонятно. Наверное, мне просто показалось.

— Спасибо, Михаил Владимирович, — сказала я, стараюсь, чтобы голос звучал ровно. — Это очень... неожиданно. Приятно.

— Не за что, — он улыбнулся, и улыбка у него была хорошая — открытая, без тени той грусти, которая обычно пряталась в его глазах. — Вы заслуживаете цветов. И не только ромашек.

Я не знала, что ответить. Слова застряли где-то в горле, и я просто кивнула, вышла из палаты и закрыла за собой дверь.

В коридоре я прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Ромашки. Мне подарили ромашки. Простой, скромный букет, купленный, наверное, в ларьке у метро, за двести рублей, в лучшем случае — за триста. Для него это была про-

сто благодарность — пациент поздравил врача с праздником. Так бывает. Я видела, как медсестрам дарят цветы, конфеты, открытки. Пациенты любят своих врачей — по-своему, по-пациентски, с благодарностью за спасенные жизни и облегченную боль. Это нормально.

Но почему тогда у меня дрожат руки?

Я открыла глаза и посмотрела на букет. Ромашки были чуть примяты — их несли в пакете вместе с лекарствами, наверное. Один стебель слегка надломился, и головка цветка склонилась набок, как будто кивала мне. Я осторожно поправила его, расправила лепестки.

Пахло весной. Там, где я выросла, за городом, было поле, на котором каждое лето расцветали ромашки. Я бегала туда с подружками, плела венки, ложилась в траву и смотрела в небо. Мне было лет десять, может, двенадцать. Мама кричала с крыльца: «Натали! Обедать!» — и я бежала домой, держа в руках охапку ромашек, и мама ставила их в банку, и они стояли на подоконнике целую неделю, пока не начинали вянуть.

Потом была учеба, интернатура, работа. Ромашки остались в детстве, как и многое другое.

Я глубоко вздохнула, собралась и пошла дальше по коридору. Впереди был обход, карты, анализы, консилиум. Впереди был обычный рабочий день, который ничем не отличался от сотен других. Просто сегодня было 8 Марта, и пациент из пятой палаты подарил мне ромашки. Вот и все.

Я зашла в ординаторскую. Леночка уже ушла, на столе осталась аккуратно сложенная смена. Я села на свой стул, положила букет перед собой и долго на него смотрела.

Потом встала, нашла в шкафчике пустую кружку — ту самую, с надписью «Лучший доктор», — налила в нее воды, поставила ромашки. Они смотрелись нелепо в этой кружке, среди стопок карт, рецептов и направлений. Слишком живые, слишком настоящие.

Я смотрела на них, и вдруг почувствовала, как к горлу подступает что-то теплое, мешающее дышать. Это не были слезы — я давно разучилась плакать. Это было что-то другое. Что-то, что я не могла назвать, потому что не знала, как это называется.

Мой телефон завибрировал. Я взглянула на экран — мама.

— Привет, мам, — сказала я, принимая вызов.

— Натали, с праздником! — голос мамы был бодрым, звонким, как всегда. — Ты как? На работе?

— Да, мам, на работе.

— Опять работаешь в праздник. Ну что за жизнь! Когда ты уже найдешь себе нормального мужчину, который будет дарить тебе цветы и водить в рестораны?

Я посмотрела на ромашки в кружке.

— Мне сегодня подарили цветы, мам, — сказала я.

— Правда? — голос мамы изменился, стал заинтересованным. — Кто? Откуда? Что за мужчина?

— Пациент, — ответила я. — Просто пациент.

— Ах, пациент, — разочарованно протянула мама. — Ну, это не считается. Пациенты всегда дарят цветы врачам, это такая традиция. Я думала, наконец-то...

— Я знаю, мам, — перебила я. — Это просто ромашки.

— Ромашки? — Мама фыркнула. — Ну и подарок. Ромашки дарят только деревенские. Вот если бы розы, или хотя бы тюльпаны...

— Мне нравятся ромашки, — сказала я тихо.

Мама что-то еще говорила, но я уже не слушала. Я смотрела на цветы и думала о том, как они попали в эту кружку. Как их купили в ларьке у метро, наверное, рано утром, когда еще было темно и моросил дождь. Как их несли в пакете вместе с лекарствами, бережно, чтобы не помять. Как их подарили мне с улыбкой, которая была светлее любого солнца.

— Мам, мне пора, — сказала я, когда мама сделала паузу, чтобы перевести дыхание. — Обход.

— Работа, работа, — вздохнула мама. — Ладно, иди. С праздником, дочка. Люблю тебя.

— И я тебя, мам.

Я положила трубку и снова посмотрела на ромашки. Они стояли в кружке, чуть наклонив головки, как будто прислушивались к чему-то. Или ждали.

Я взяла фонендоскоп и вышла из ординаторской. В коридоре меня окликнула медсестра:

— Наталья Сергеевна, у вас цветы в ординаторской? Я ви-

дела, когда заходила.

— Да, — ответила я. — Пациент подарил. Из пятой палаты.

— Ой, — медсестра, молоденькая Настя, улыбнулась. — А он симпатичный, этот Михаил Владимирович. И такой вежливый. А что подарил? Розы?

— Ромашки, — сказала я.

— Ромашки? — Настя удивилась. — Странно. Обычно дарят что-то попышнее.

— Он сказал, что я похожа на ромашку, — слова вырвались сами собой, и я тут же пожалела о них.

Настя посмотрела на меня с интересом.

— Ой, да он же в вас влюблен! — выпалила она, а потом спохватилась, вспомнив, с кем разговаривает. — То есть... я хотела сказать...

— Он просто благодарен, — отрезала я. — Идите, Настя, у вас свои дела.

Она убежала, а я осталась стоять посреди коридора. Влюблен. Глупости. Пациенты не влюбляются в своих врачей. И врачи не влюбляются в пациентов. Это этика, это правила, это то, что вбито в голову с первого курса. Врач и пациент — это профессиональные отношения, в которых нет места личным чувствам.

Я знала это. Я это помнила. Я это соблюдала всегда.

Но почему тогда я сейчас стояла и думала не о том, что мне нужно в третью палату проверить давление, а о том, как

он сказал: «Вы больше похожи на ромашку»?

Я тряхнула головой, отгоняя непрощенные мысли, и пошла по коридору. Работа. Только работа. Это всегда спасало.

День тянулся долго. Обход, анализы, консилиум по поводу сложного пациента из четвертой палаты — того самого, с нестабильной стенокардией. Заведующий, Семен Борисович, был в хорошем настроении — жена, видимо, не пилила за то, что пришел на работу в праздник, — и мы быстро нашли решение по коррективке терапии.

Потом были назначения, выписки, разговоры с родственниками. Кто-то из пациентов подарил медсестрам торт, и в ординаторскую принесли кусок, но я отказалась — не хотелось. Пить хотелось, но кофе закончился, а кипяток из кулера пить было противно.

Я вернулась в ординаторскую после обеда, и первое, что увидела — ромашки. Они стояли на столе, все такие же живые, и кружка с надписью «Лучший доктор» теперь казалась мне не поцарапанной и старой, а уютной, почти домашней.

Я села за стол, взяла в руки карту Михаила Владимировича. Открыла, посмотрела на данные. Тридцать четыре года. Инфаркт. Удовлетворительное состояние. Динамика положительная. Можно выписывать через три-четыре дня, если анализы будут хорошими.

Через три-четыре дня он уйдет. Я больше не буду заходить в пятую палату по утрам, не буду слушать его сердце фонендоскопом, не буду смотреть в его серые глаза, которые

смотрят так, будто видят что-то, чего не видят другие.

Я захлопнула карту. О чем я думаю? О чем, черт возьми, я думаю?

В дверь постучали.

— Да, — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Дверь открылась, и на пороге появился он. Михаил Владимирович. В больничной пижаме, поверх которой был накинута халат. В руках — ничего. Он стоял, слегка опираясь на косяк, и смотрел на меня.

— Михаил Владимирович, — я встала. — Вам нельзя ходить по коридору без сопровождения. Вы должны соблюдать постельный режим.

— Я знаю, — сказал он спокойно. — Мне нужно было вам кое-что сказать.

— Говорите. Но лучше присядьте.

Я указала на стул напротив. Он прошел, сел, положил руки на стол. Я заметила, что они у него большие, с длинными пальцами — руки художника. И на правой руке, на указательном пальце, — след от карандашного грифеля, въевшийся в кожу.

— Я хотел извиниться, — сказал он.

— За что?

— За цветы. Я поставил вас в неловкое положение. Я видел, как вы растерялись.

— Вы не поставили меня в неловкое положение, — ответила я. — Я просто... не ожидала. Спасибо, они очень кра-

сивые.

— Вы их поставили в кружку, — он кивнул на стол, и на его лице появилась легкая улыбка. — Я заметил, когда шел мимо. Дверь была открыта.

— В ординаторской нет вазы, — сказала я, чувствуя, что оправдываюсь. — Но они там хорошо стоят.

— Им там хорошо, — согласился он. — С вами.

Повисла пауза. Я не знала, что сказать. Он тоже молчал, но смотрел на меня так, что мне захотелось отвести взгляд. Я не отвела.

— Вы правда считаете, что я похожа на ромашку? — спросила я вдруг, и сама удивилась этому вопросу.

Он подумал. Не сразу ответил, а подумал, глядя на меня, и это было странно — обычно люди отвечают быстро на такие вопросы, не задумываясь.

— Да, — сказал он наконец. — Ромашка — это цветок, который не кричит о себе. Она не броская, не яркая. Но когда вы смотрите на ромашковое поле, вы понимаете, что это самое красивое место на земле. Потому что в каждой ромашке есть свет. И все вместе они создают####... я не знаю, как сказать по-русски. Ощущение дома.

— Ощущение дома, — повторила я.

— Да. Когда я смотрю на вас, я чувствую, что все будет хорошо. Даже здесь, в больнице, где пахнет лекарствами и все чужое. Вы приходите, и становится спокойно.

— Это моя работа, — сказала я, и голос мой прозвучал

глухо. — Я должна внушать спокойствие пациентам.

— Вы не внушаете, — он покачал головой. — Вы просто... есть. И этого достаточно.

Я смотрела на него и чувствовала, как в груди разворачивается что-то теплое, большое, непрощенное. Я не хотела этого чувства, я не звала его, я делала все, чтобы оно не приходило. Но оно пришло. И теперь сидело где-то под ребрами, мешая дышать, мешая думать, мешая быть той Натальей Сергеевной, которую все знали.

— Михаил Владимирович, — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, — я ваш лечащий врач. Наши отношения — это профессиональные отношения. Я понимаю, что после болезни люди становятся более эмоциональными, более чувствительными. Это нормально. Но вы должны понимать...

— Я все понимаю, — перебил он мягко. — Я не предлагаю вам нарушать правила. Я просто сказал, что вы похожи на ромашку. И подарил вам цветы. В этом нет ничего противозаконного, правда?

— Нет, — я почувствовала себя маленькой девочкой, которую отчитали за то, что она слишком серьезно отнеслась к шутке.

— Вот и хорошо. — Он встал. — Мне пора в палату. Я и так нарушил режим. Вы скажете медсестре, чтобы меня отругали?

— Скажу, — я тоже встала, чувствуя, что мои колени по-

чему-то стали ватными. — Идите. И больше не ходите по коридорам без разрешения.

— Слушаюсь, доктор, — он улыбнулся и пошел к двери. На пороге он обернулся.

— Наталья Сергеевна, — сказал он. — Можно вопрос?

— Задавайте.

— Вы когда-нибудь смотрели на ромашковое поле?

Я замерла. В голове мелькнуло детство, лето, бесконечное поле за домом, в котором мы жили до переезда в город. Мамин голос, кричащий с крыльца. Солнце, трава по пояс, венчик из ромашек на голове.

— Давно, — ответила я. — Очень давно.

— Жаль, — сказал он. — Такое нельзя забывать.

И вышел.

Я стояла посреди ординаторской и смотрела на закрытую дверь. Потом перевела взгляд на ромашки в кружке. Они, казалось, смотрели на меня в ответ — спокойно, светло, как смотрят только цветы, которые знают что-то, чего не знают люди.

Я подошла к столу, села, взяла в руки карту, но строчки расплывались. Я смотрела на них и не видела.

«Такое нельзя забывать», — сказал он.

Я закрыла карту и уставилась в окно. За окном по-прежнему было серо, но в разрывах туч я вдруг заметила бледно-голубое небо. Весна все-таки пробивалась. Медленно, робко, но пробивалась.

Мой телефон снова завибрировал. Сообщение от Леночки: «Наталья Сергеевна, у нас в приемном покое экстренное поступление. Иду встречать скорую».

Я встала, надела халат, поправила волосы. Работа. Работа ждала. Всегда ждала.

На выходе из ординаторской я обернулась. Ромашки стояли на столе, на фоне серых карт и белых рецептов, такие живые, такие нездешние.

— Спасибо, — сказала я им тихо, почти шепотом.

И вышла в коридор, где меня ждали пациенты, жалобы, анализы, давление, пульс, жизнь и смерть. Все то, что составляло мой мир.

Но в этом мире теперь было что-то новое. Что-то, что пахло полем и солнцем. Что-то, что звали ромашками.

К вечеру я вымоталась так, что ноги гудели, а голова была пустой, как вымытая банка. Экстренное поступление оказалось сложным — мужчина, пятьдесят лет, обширный инфаркт. Реанимация, кардиограмма, капельницы, консультация с кардиохирургом. Кое-как стабилизировали. Семен Борисович сказал: «Молодец, Наталья Сергеевна». Это была похвала, и я должна была чувствовать удовлетворение, но я чувствовала только пустоту.

Я вернулась в ординаторскую, когда уже стемнело. За окном горели фонари, и в их свете мокрый снег казался золотым. Я сняла халат, повесила на спинку стула, подошла к столу.

Ромашки стояли на том же месте. За день они чуть подвяли — в ординаторской было сухо и жарко от батарей. Но они все еще пахли, и этот запах был сильнее запаха лекарств, сильнее усталости, сильнее всего.

Я взяла кружку, поднесла к лицу, вдохнула. Горьковато-свежий, травяной аромат наполнил легкие, и на секунду мне показалось, что я снова там, в детстве, на ромашковом поле, и мне десять лет, и все впереди, и жизнь будет длинной-длинной и обязательно счастливой.

Я поставила кружку на место и достала телефон. Нашла в контактах маму, но не позвонила — поздно, она уже спит. Написала сообщение: «Мам, все хорошо. С праздником».

Потом я посмотрела на дверь, за которой был коридор, а в конце коридора — пятая палата. Там сейчас лежал мужчина с серыми глазами и руками художника. Он спал, наверное. Или не спал. Может быть, смотрел в окно на мокрый снег и думал о чем-то своем.

Я села за стол, открыла ноутбук. Нужно было заполнить электронные карты, но пальцы замерли над клавиатурой. Я смотрела на ромашки и думала о том, что сказал Михаил: «Такое нельзя забывать».

А я забыла. Забыла, как пахнет поле. Забыла, какого цвета небо в детстве. Забыла, каково это — идти по траве босиком и чувствовать, как земля греет ступни. Забыла, потому что жизнь заставила забыть. Потому что если помнить, то невозможно каждый день видеть боль, смерть, отчаяние.

Невозможно держать в руках чужое сердце, которое вот-вот остановится, и чувствовать свою беспомощность. Невозможно быть врачом, если помнишь, что такое быть просто человеком.

Я забыла. А он напомнил.

Я закрыла ноутбук, взяла сумку, собралась уходить. Перед выходом я еще раз посмотрела на ромашки. Оставить их здесь? Взять с собой?

Я взяла кружку, осторожно, чтобы не расплескать воду, и понесла их к выходу. В раздевалке я переобулась, надела пальто, и теперь в одной руке у меня была сумка, в другой — кружка с ромашками. Я шла по коридору, и медсестры на посту смотрели на меня с удивлением — никогда раньше Наталья Сергеевна не уносила домой цветы от пациентов.

Выйдя на улицу, я остановилась. Снег почти перестал, небо очистилось, и в прорехах туч виднелись бледные звезды. Я подняла лицо, вдохнула холодный воздух, и он смешался с запахом ромашек, и это было странно — зима и лето, холод и тепло, город и поле.

Я пошла к метро, держа кружку перед собой, как самую большую ценность. Прохожие оглядывались, кто-то улыбался, женщина с огромным букетом тюльпанов посмотрела на мои ромашки с легким презрением. Мне было все равно.

В метро я села, поставила кружку на колени и смотрела на цветы. Они качались в такт движению поезда, и мне казалось, что они живые, что они дышат, что они знают что-

то, чего не знаю я.

Дома я поставила их на кухонный стол, долго искала, во что бы поставить, и в конце концов нашла в шкафу стеклянную банку — из-под кофе, чистую, прозрачную. Перелила воду, поставила ромашки. Они смотрелись в банке лучше, чем в кружке, — простые, скромные, настоящие.

Я сварила себе ужин — гречку с овощами, съела половину, потому что больше не лезло. Потом приняла душ, легла в кровать и долго не могла уснуть. Смотрела в потолок, слушала, как за окном шумит город, и думала.

О том, что завтра снова будет обход. Я зайду в пятую палату, спрошу, как спалось, послушаю сердце, сделаю пометки в карте. Он будет сидеть на кровати, смотреть на меня своими серыми глазами и, может быть, улыбнется. А я буду делать вид, что ничего не случилось, что ромашки, которые стоят сейчас у меня на кухне, — это просто цветы, просто жест благодарности, просто ничего.

Но я знала, что это не «просто ничего». Я знала это, когда засыпала, и знала, когда просыпалась среди ночи оттого, что сердце билось слишком громко и слишком быстро, и я не могла понять, это мое сердце или его, или чье-то еще, и вообще — я же врач, я должна это контролировать.

Но я не контролировала. И это было страшнее любого инфаркта.

А ромашки стояли на кухне, в стеклянной банке, и тихо светились в темноте. Я не знаю, как они это делали — мо-

жет быть, просто отражали свет уличных фонарей. Но мне казалось, что они светятся сами. Как маленькое поле, которое вдруг выросло посреди зимы, чтобы напомнить мне, что весна все-таки придет.

Обязательно придет.

Глава 1

Когда мне было двадцать лет, я думала, что к тридцати двум у меня будет все. Не то чтобы я много об этом размышляла — в двадцать лет я зубрила анатомию, путала ветви черепно-мозговых нервов и спала по четыре часа в сутки, — но где-то на задворках сознания теплилась уверенность: к этому возрасту жизнь уляжется, как дорогая простыня на идеально заправленной кровати. Будут муж, дети, дом с большими окнами и, возможно, собака. Будет субботнее утро, когда можно не спешить, пить кофе с корицей и смотреть, как солнце ползет по кухонному столу.

Реальность оказалась другой.

В тридцать два года у меня была однокомнатная квартира в панельной высотке на окраине, которую я снимала, потому что ипотека пугала меня больше, чем остановка сердца во время операции. У меня был халат — белый, накрахмаленный, сшитый на заказ, потому что стандартные больничные халаты висели на мне как палатки. У меня были руки, которые умели слушать чужое сердце лучше, чем собственное. У меня была должность заведующей кардиологическим отделением в городской больнице №14 — и это звучало внушительно, пока не понимаешь, что «заведующая» в нашей больнице означает не кабинет с кожаным креслом и секретаршей, а бесконечные отчеты, выбивание лекарств из по-

ставщиков, разругивание конфликтов между медсестрами и дежурства, которые никто не отменял.

Молодого человека у меня не было. Не потому, что я не хотела — по крайней мере, я так себе говорила, — а потому, что в моей жизни не осталось места для свиданий. Как можно ходить в кино, если у тебя в семь утра обход, а в одиннадцать вечера — экстренное поступление? Как можно знакомиться с мужчиной в приложении, если после смены ты не в силах выдавить из себя ни одного связного предложения, кроме «давление сто на семьдесят, пульс шестьдесят, назначить ингибиторы АПФ»? Как можно строить отношения, если твои отношения с работой уже давно переросли в зависимость, которую психологи назвали бы созависимой, а коллеги — просто «она ответственная»?

Родители жили в трехстах километрах отсюда, в небольшом городе, где я выросла. Мама работала учительницей литературы, папа — инженером на заводе, который давно уже не работал, но папа все равно каждое утро надевал рубашку и уходил «по делам». Они звонили раз в неделю, по воскресеньям, и каждый раз разговор строился по одному и тому же сценарию: «Как дела?», «Нормально», «Что ела?», «Все в порядке», «Натали, когда ты уже...» — и тут я обычно находила повод попрощаться, потому что продолжения я не выносила. Не потому, что не хотела их слышать. А потому, что не хотела признавать: они правы. В тридцать два года быть заведующей отделением — это достижение. В тридцать два

года быть одной — это приговор, который я сама себе вынесла.

Восьмое марта в моем календаре всегда было выделено красным, но не как праздник, а как день, когда я работаю. Всегда. Потому что 8 Марта — это суббота или воскресенье, а в субботу и воскресенье я дежурю. Потому что у медсестер маленькие дети, и им нужен выходной. Потому что коллеги-мужчины хотят поздравить своих жен, и я не могу их задерживать. Потому что, если честно, мне было проще быть на работе, чем дома, где стены напоминали о том, что здесь никто не ждет.

Я не помню, когда в последний раз получала цветы 8 Марта. Кажется, на третьем курсе медицинского. Однокурсник Антон, тот самый, что потом женился на Кате из параллельной группы, купил мне три тюльпана — желтых, с острыми лепестками — и сказал: «Натали, ты классная». Я тогда подумала: «Классная — это не то, что нужно слышать от мужчины, который тебе нравится». Но вслух сказала спасибо и поставила тюльпаны в пластиковый стаканчик на подоконнике в общежитии. Они простояли три дня, а потом завяли, и я выбросила их вместе с чувством, которое так и не успело окрепнуть.

После были другие 8 Марта. На работе их обычно отмечали чаепитием в ординаторской — торт от профсоюза, конфеты, которые таяли во рту быстрее, чем я успевала их съесть, и дежурные поздравления от Семена Борисовича, который

каждое 8 Марта говорил одно и то же: «Дорогие женщины, вы — наша опора и наше вдохновение. Спасибо, что вы есть». Семен Борисович был хорошим заведующим — до меня, — и он действительно верил в то, что говорил. Но «вдохновение» в устах шестидесятилетнего кардиолога с одышкой и гипертонией звучало как-то не очень вдохновляюще.

В прошлом году я получила открытку от пациентки из третьей палаты — Марьи Ивановны, той самой, которая жаловалась на молоко. Открытка была с тюльпанами, внутри — написанное шариковой ручкой: «Спасибо, что спасли меня. Вы — лучший врач». Я храню такие открытки в ящике стола, в отдельной папке. Иногда, когда вечером после тяжелого дежурства руки опускаются, я открываю эту папку и перечитываю. Это помогает. Не всегда, но помогает.

Цветы от пациентов я получала редко. Чаще дарили конфеты — «Аленку», которую я не ем, или «Красный Октябрь», который я тоже не ем, потому что после тридцати метаболизм не тот, а сидячий образ жизни и постоянный стресс делают свое дело. Иногда дарили чай, иногда — безделушки вроде фарфоровых слоников или магнитных календариков. Все это я складывала в шкаф, а слоников раздаривала медсестрам. Я не была сентиментальной. Я не была той женщиной, которая хранит памятные вещи.

Поэтому утром 8 Марта, когда Михаил Владимирович из пятой палаты протянул мне букет ромашек, я растерялась. Не потому, что цветы были дорогими или редкими. Не по-

тому, что я ждала чего-то большего. А потому, что ромашки были... неправильными. Неправильными для этого дня. Для этого места. Для меня.

В моем представлении 8 Марта — это мимозы, тюльпаны, розы, орхидеи, если мужчина состоятельный и хочет впечатлить. Ромашки — это что-то из детства, из деревни, из того мира, где нет асфальта и неона, где трава пахнет по-настоящему, а не бензином и выхлопными газами. Ромашки — это цветы, которые дарят не женщине, а девочке. Или не женщине в моем положении — заведующей отделением, тридцати двум годам, белый халат, строгий хвост и никакой сентиментальности.

Но он сказал: «Вы похожи на ромашку». И я не нашлась, что ответить.

Весь день эти слова крутились в голове, как заевшая пластинка. Я мысленно отмахивалась от них, загружала мозг работой, но они возвращались. В тот момент, когда я слушала легкие пожилого мужчины с застойной сердечной недостаточностью. В тот момент, когда подписывала направление на холтер для молодой женщины с тахикардией — ей было тридцать пять, она была замужем, и на безымянном пальце блестело кольцо, и я поймала себя на том, что смотрю на это кольцо дольше, чем нужно. В тот момент, когда объясняла родственникам тяжелого пациента, что операция неизбежна, и они плакали, а я стояла с каменным лицом, потому что не могла позволить себе плакать вместе с ними.

«Вы похожи на ромашку».

Что это вообще значит? Ромашка — это полевой цветок, сорняк почти, который растет где попало, не требует ухода, не капризничает. Ромашка — это цветок-середнячок, не роза, не лилия, не пион. Ромашку не дарят на первом свидании, ромашкой не делают предложение, ромашку не ставят в хрустальную вазу. Ромашку ставят в кружку — как я поставила. В старую, поцарапанную кружку с надписью «Лучший доктор», потому что в ординаторской не было вазы.

Я смотрела на эти ромашки в перерывах между делами. Они стояли на моем столе, среди стопок карт, рецептов и распечаток ЭКГ. Белые лепестки, желтые серединки — такие яркие на фоне серых больничных будней. И каждый раз, когда я поднимала глаза от бумаг, они были здесь. Они не исчезали. Они не вяли за один день, как те тюльпаны в общежитии. Они стояли и смотрели на меня, и мне казалось, что они что-то знают.

К вечеру я унесла их домой. Не знаю, зачем. Я никогда не уносила цветы от пациентов домой — они оставались в ординаторской, и медсестры забирали их, когда я уходила. Но эти ромашки... я не могла их оставить. Это было глупо, иррационально, непрофессионально. Но я взяла кружку, налила в нее свежей воды, осторожно, чтобы не повредить стебли, и понесла через весь город в своей сумке, придерживая рукой, чтобы цветы не упали.

В метро на меня оглядывались. Женщина напротив, с

огромным букетом алых роз, смотрела с легким презрением, как смотрят на тех, кто не умеет выбирать цветы. Я опустила глаза и уставилась в пол. В вагоне было душно, пахло потом и дешевой парфюмерией, и только мои ромашки пахли свежестью — горьковатой, травяной, напоминающей о чем-то, чего я уже не могла вспомнить.

Дома я поставила их в стеклянную банку из-под кофе. Это было единственное, что нашлось подходящего размера. Банка была прозрачной, и в ней было видно стебли — тонкие, чуть изогнутые, с мелкими листочками. Я долго смотрела на них, стоя посреди кухни, а потом пошла варить ужин.

Кухня у меня маленькая, как и вся квартира. Стол у окна, плита, холодильник, на подоконнике — кактус. Я включила свет, достала из холодильника гречку и овощи, поставила воду кипятиться. Руки делали привычное дело — мыли, резали, солили, — а голова была далеко.

Я думала о Михаиле Владимировиче.

Не в первый раз за этот день, но сейчас, в тишине пустой квартиры, мысли были другими. Не профессиональными — не о диагнозе, не о терапии, не о прогнозе. А о том, как он сказал: «Вы больше похожи на ромашку». О том, как смотрел — спокойно, внимательно, без той жалости, которую я привыкла видеть в глазах мужчин, когда они узнавали, что я работаю в реанимации. О том, как пришел в ординаторскую — без спроса, нарушая режим — чтобы извиниться. За что? За то, что подарил цветы? За то, что заставил меня почув-

ствовать себя женщиной?

Я отрезала морковь тонкими кружочками — ровно, аккуратно, как учила мама. Мама всегда говорила: «Еда должна быть красивой, даже если ты ешь одна». Я ем одна уже три года. С тех пор как переехала в эту квартиру. До этого была другая квартира, в другом районе, и там я тоже ела одна. И до этого — тоже одна. Я не помню, когда в последний раз готовила на двоих.

Вода закипела, я засыпала гречку. Пар поднялся к потолку, запотело окно. Я провела пальцем по стеклу, и на влажной поверхности остался след. За окном был город — серый, мокрый, с грязными сугробами вдоль обочин и редкими прохожими, спешащими по своим делам. 8 Марта. Праздник весны. А за окном был март, который в этом городе всегда был зимой.

Я села за стол, поставила перед собой тарелку с гречкой и овощами. Ромашки стояли рядом, в банке из-под кофе, и их отражение дрожало в стекле. Я смотрела на них и ела — медленно, без аппетита, потому что есть хотелось, но еда не лезла.

Мне вдруг стало обидно. Не из-за цветов. Не из-за того, что я одна. А из-за того, что я не могу просто взять и порадоваться. Просто взять и поверить, что эти ромашки — не «просто цветы», а что-то большее. Что они значат. Что этот мужчина с серыми глазами и руками художника посмотрел на меня и увидел не врача, не заведующую отделением,

не «Наталью Сергеевну, которая всегда знает, что делать», а просто женщину. Женщину, которая похожа на ромашку.

Но я не умела так. Я не умела верить в жесты, которые не подтверждены диагнозом, протоколом и статистической значимостью. Я привыкла оперировать фактами. А факты были таковы: он — пациент, я — врач. Он — мужчина, который пережил инфаркт, а после инфаркта люди часто становятся эмоциональными, привязчивыми, благодарными. Это называется «реакция на тяжелый стресс». Я читала об этом, я видела это сотни раз. Пациенты влюбляются в своих врачей, потому что врач для них — это тот, кто вернул их к жизни. Это не любовь, это благодарность. Это не чувство, это психологическая защита.

Я знала это. Я это понимала. И все равно сидела на кухне, смотрела на ромашки и чувствовала, как где-то в груди — не там, где сердце, а ниже, там, где прячется то, что я давно заблокировала, — разворачивается что-то теплое, мягкое, непрошеное.

Я доела гречку, вымыла тарелку, убрала со стола. Потом долго стояла под душем, закрыв глаза, и слушала, как вода стучит по кафелю. Потом легла в кровать, укрылась одеялом и уставилась в потолок.

В спальне было темно — я не зажигала свет. Только свет из кухни падал на дверь тонкой полосой, и в этой полосе что-то мелькало — тени, наверное. Или ромашки. Они стояли на кухне, но мне казалось, что я чувствую их запах — свежий,

горьковатый, живой.

Я закрыла глаза и попыталась заснуть. Но сон не шел. В голове крутились мысли — нестройные, обрывочные, как кардиограмма с нарушением ритма.

Я вспомнила, как вчера, на обходе, он показал мне свой рисунок. Вид из окна. Голые деревья, крыша соседнего корпуса, серое небо. И в этом рисунке было что-то такое, от чего у меня защемило сердце. Не тоска. Не боль. А какая-то щемлящая нежность к этому миру, который он изобразил. Будто он смотрел на эти голые деревья и видел не зиму, а то, что будет потом. Весну. Листья. Жизнь.

Я вспомнила, как он пришел в ординаторскую. Как сел напротив меня, положил руки на стол. Как сказал: «Вы не внушаете спокойствие, вы просто есть. И этого достаточно».

Никто никогда не говорил мне такого. Никогда.

Мужчины, с которыми я встречалась — а их было немного, — обычно говорили о другом. О том, что я слишком много работаю. О том, что я слишком серьезная. О том, что им трудно со мной, потому что я «всегда права» и «никогда не показываю слабости». Один, самый настойчивый, сказал: «Натали, ты как скала. На скалу можно опереться, но на скале ничего не вырастет». Я тогда не поняла, что он имел в виду. Теперь, кажется, начинаю понимать.

Я скала. Я заведующая отделением, я спасаю жизни, я принимаю решения, от которых зависит, будет ли человек жить или умрет. Я не имею права быть слабой. Не имею пра-

ва плакать. Не имею права сомневаться. Не имею права ставить ромашки в кружку и думать, что они что-то значат.

Но я поставила. И думаю.

Я перевернулась на бок, уткнулась лицом в подушку. Подушка пахла стиральным порошком — ничем особенным. В моей жизни вообще не было ничего особенного. Только работа. Только карты, назначения, обходы, консилиумы. Только белый халат и строгий хвост. Только цифры давления, уровень холестерина, фракция выброса.

А теперь еще ромашки.

Я заснула под утро, и мне приснилось поле. Большое, бесконечное, все в белых ромашках. Я шла по нему босиком, и трава щекотала ноги, и солнце светило в лицо, и я улыбалась. А вдалеке стоял мужчина — я не видела его лица, только силуэт на фоне неба. Он стоял и смотрел на меня, и я шла к нему, и сердце билось быстро-быстро, как у пациентов с тахикардией, но это была не тахикардия, это было что-то другое. Что-то, чему я не знала названия.

А потом я проснулась. Будильник зазвенел в 5:45, как всегда. В комнате было серо, за окном моросил дождь. Я протянула руку, нащарила телефон, сдвинула ползунок. И долго лежала, глядя в потолок, пытаясь вернуть сон. Но сон ушел, оставив после себя только ощущение — теплое, смутное, как отзвук чего-то, что было когда-то давно и потерялось навсегда.

Я встала, пошла на кухню. Ромашки стояли на столе, в

банке из-под кофе. За ночь они чуть распустились — те бутоны, которые были еще закрыты вчера, сегодня раскрыли лепестки. Я подошла, наклонилась, вдохнула их запах. Он все еще был свежим, горьковатым, живым.

Я посмотрела на них и подумала: «Ромашки — это несерьезно».

Но в кружку с надписью «Лучший доктор» я их все-таки поставила. Потому что другой посуды не нашлось. Потому что банка из-под кофе была на кухне, а ромашки я хотела видеть здесь, на работе, где они будут напоминать мне о том, что я — не только врач. Что я — женщина. Что я — Натали.

Я налила в кружку свежей воды, поправила стебли, повернула букет так, чтобы цветы смотрели на меня. И села за стол, открывая карты пациентов.

Первым в списке был Михаил Владимирович.

Я посмотрела на его фамилию, написанную аккуратным почерком: Воронцов М. В. Тридцать четыре года. Инфаркт миокарда. Состояние удовлетворительное. Динамика положительная. Выписка планируется через...

Я закрыла карту. Потом открыла снова. Потом закрыла.

Я не могла сейчас о нем думать. Не могла позволить себе думать о нем как о мужчине, который подарил мне цветы и сказал, что я похожа на ромашку. Я должна была думать о нем как о пациенте. Только как о пациенте.

Я взяла ручку, открыла историю болезни и начала писать. «Пациент Воронцов М.В., 34 года, находится на стационар-

ном лечении с 24.02.2024 с диагнозом: острый инфаркт миокарда...»

Ручка скрипела по бумаге, слова ложились ровно, каллиграфически. Я писала о том, что ему нужны ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, статины. О том, что физическая нагрузка должна быть ограничена. О том, что показана консультация кардиохирурга для решения вопроса о коронарографии.

Я писала и чувствовала, как это помогает. Профессиональная рутина — лучшее лекарство от непрошенных чувств. Когда ты описываешь симптомы, назначаешь терапию, оцениваешь риски, нет места для ромашек, серых глаз и слов о том, что «ты похожа на поле».

Я дописала, отложила карту, взяла следующую. Мария Ивановна, 72 года, мерцательная аритмия. Жалобы на перебои в работе сердца, слабость. Назначить...

— Наталья Сергеевна! — дверь ординаторской распахнулась, и на пороге появилась медсестра Настя, запыхавшаяся, с растрепавшимися волосами. — Там в приемном покое... Скорая привезла... Мужчина, шестьдесят лет, инфаркт. Реанимационная бригада уже там, но...

Я встала, не дослушав. Халат, фонендоскоп, быстрый шаг по коридору. Сердце забилося чаще — не от страха, а от привычного предстартового волнения, которое всегда охватывало меня перед сложным случаем. Это был мой допинг. Моя энергия. Мой смысл.

В приемном покое было шумно. Врачи скорой, медсестры, капельницы, кардиограф. Мужчина на каталке — бледный, с серым лицом, покрытый холодным потом. Я подошла, взяла его руку — холодная, влажная. Посмотрела в глаза — расширенные зрачки, страх.

— Давление? — спросила я.

— Восемьдесят на пятьдесят, — ответил врач скорой. — Кардиограмма — инфаркт передней стенки.

Я кивнула. В голове уже выстроился алгоритм действий. Тромболизис, если нет противопоказаний. Катетеризация. Возможно, стентирование. Я отдавала распоряжения четко, быстро, не повышая голоса — но так, что никто не сомневался: нужно делать то, что я говорю.

Мужчина смотрел на меня. В его глазах была мольба — спасите. Я видела этот взгляд сотни раз. Он всегда был одинаковым — независимо от возраста, пола, социального статуса. В этот момент человек не думает о деньгах, о работе, о семье. Он думает только об одном: «Я не хочу умирать».

— Все будет хорошо, — сказала я ему, сжимая его руку. — Мы вас не отпустим.

Это была ложь. Я не знала, будет ли хорошо. С таким давлением, с такой кардиограммой — шансы пятьдесят на пятьдесят. Но я не могла сказать правду. Правда убивает быстрее, чем инфаркт.

Мы закатали его в реанимационную, подключили мониторы, поставили катетеры. Я работала быстро, пальцы дви-

гались автоматически, как у пианиста, который играет этюд, разученный до боли. Тромбозис. Контроль давления. Анализ крови на тропонин. Вызов кардиохирурга.

Через два часа давление стабилизировалось. Кардиограмма показывала некоторое улучшение. Мужчина заснул — вернее, потерял сознание от усталости и лекарств. Я стояла у его кровати, смотрела на монитор, где пульсировала зеленая линия, и чувствовала, как усталость наваливается на плечи тяжелым грузом.

— Наталья Сергеевна, — ко мне подошла дежурная медсестра, — вы бы поели. Вы с утра ничего не ели.

— Потом, — отмахнулась я.

Я отошла к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу. За окном был день — серый, мокрый, без просвета. 9 Марта. Вчера был праздник. Сегодня — обычный рабочий день.

Я закрыла глаза и вдруг — ни с того ни с сего — вспомнила ромашки. Они стояли у меня в ординаторской, в кружке на столе. Белые лепестки, желтые серединки. Я поставила их туда утром, перед тем как пришла Настя.

Почему я их не выбросила? Я всегда выбрасывала цветы от пациентов. Или оставляла медсестрам. Но эти... я поставила их на свой стол. Туда, где их видели все. Где они стояли как... как что? Как признание? Как напоминание? Как маячок?

Я открыла глаза, отлепилась от окна. В реанимационной было тихо, только пищал монитор и гудела вентиляция.

Мужчина на кровати дышал ровно, глубоко. Я еще раз проверила его показатели, сделала пометки в карте и вышла в коридор.

По пути в ординаторскую я встретила Леночку. Она шла с анализами, увидела меня и улыбнулась.

— Наталья Сергеевна, с прошедшим вас! Как тот пациент? Из приемного?

— Стабилен, — ответила я. — Леночка, вы сегодня работаете?

— Да, я в смене. А что?

— Ничего. Спасибо.

Я пошла дальше. В ординаторской никого не было. На столе, среди бумаг и карт, стояли ромашки. Я села на свое место, посмотрела на них. За день они чуть подвяли — кончики лепестков стали прозрачными, стебли слегка поникли. Я взяла кружку, долила воды, поправила цветы.

— Держитесь, — сказала я им тихо. — Я тоже держусь.

И сама не поняла, к кому это обращено — к цветам или к себе.

Я достала телефон. На экране — ни одного пропущенного звонка, ни одного сообщения. Мама не звонила сегодня — наверное, решила, что я работаю и не стоит отвлекать. Подруги — те, что остались со времен университета, — писали вчера в общий чат: «С праздником, девчонки!». Я ответила смайликом и больше ничего. Они уже привыкли, что я всегда занята. Они перестали приглашать меня на встречи.

Перестали спрашивать, почему я одна. Перестали пытаться меня с кем-то познакомить.

Я открыла чат с мамой. Последнее сообщение — вчерашнее: «Натали, с праздником! Позвони, когда освободишься». Я так и не позвонила. Напишу завтра.

Я отложила телефон, взяла в руки карту Михаила Владимовича. Открыла, пробежалась глазами по записям. Сегодня он сдавал анализы. Если все хорошо, завтра-послезавтра можно выписывать.

Выписка. Он уедет. Вернется в свою жизнь — к проектам, стройкам, подрядчикам, которые срывают сроки. Я останусь здесь. В ординаторской с ромашками на столе.

Я закрыла карту. Посмотрела на ромашки. Они смотрели на меня в ответ, и в их молчании было что-то утешительное. Они не задавали вопросов. Не требовали ответов. Они просто были — живые, светлые, настоящие.

Может быть, в этом и есть счастье? В том, чтобы просто быть. Быть здесь. Быть собой. Быть женщиной, которая ставит ромашки в кружку и смотрит на них в перерывах между спасением жизней.

Я усмехнулась своим мыслям. Наталья Сергеевна, заведующая кардиологическим отделением, тридцать два года, сидит в ординаторской и философствует о счастье. Семен Борисович сказал бы: «Наташа, вы слишком много работаете, вам нужен отпуск». Но отпуск у меня был два года назад. Я съездила на море, одна, пролежала три дня на пляже, сгоре-

ла на солнце и вернулась раньше срока, потому что скучала по работе. Это ненормально. Я знаю. Но я не знаю, как по-другому.

В дверь постучали. Три коротких удара.

— Да, — сказала я, выпрямляясь.

Дверь открылась. На пороге стоял Михаил Владимирович. В больничной пижаме, поверх которой был накинут халат. В руках — ничего. Он смотрел на меня, и в его глазах было то же спокойствие, что и вчера.

— Михаил Владимирович, — я встала. — Вам нельзя ходить по коридору.

— Я знаю, — сказал он. — Я хотел спросить, можно ли мне сегодня... Но я вижу, вы заняты. Извините, я приду позже.

Он уже повернулся, чтобы уйти, но я окликнула:

— Подождите.

Он обернулся.

— Что вы хотели спросить?

— Можно ли мне сегодня выйти на прогулку во двор? Погода вроде наладилась, и я... мне нужно подышать воздухом. Если вы разрешите.

Я посмотрела в окно. Действительно, дождь прекратился, облака разошлись, и в щели между ними пробивался солнечный свет — робкий, бледный, но настоящий.

— Хорошо, — сказала я. — Но не больше пятнадцати минут. И одевайтесь теплее.

— Спасибо, — он улыбнулся, и улыбка у него была — та самая, открытая, светлая. — Наталья Сергеевна... ромашки стоят.

Я посмотрела на стол.

— Да, стоят.

— Они вам нравятся?

Я хотела сказать: «Это просто цветы», но слова застряли в горле.

— Нравятся, — сказала я тихо.

Он кивнул, как будто это было самое важное, что он хотел услышать. И вышел, закрыв за собой дверь.

Я осталась сидеть, глядя на закрытую дверь. Потом перевела взгляд на ромашки. Они стояли в кружке, чуть наклонив головки набок, и в их молчаливом присутствии было что-то такое, что заставляло сердце биться чаще.

Я взяла телефон, нашла мамин номер и нажала вызов.

— Натали! — голос мамы был удивленным и радостным.
— Ты звонишь! С праздником, дочка!

— С праздником, мам, — сказала я. — Как у вас дела?

— Да все хорошо. Папа свой гараж ремонтирует, я пирог испекла. А у тебя как? Как работа?

— Работа нормально, — я помолчала. — Мам, мне сегодня подарили цветы.

— Правда? — голос мамы сразу изменился, стал заинтересованным. — Кто? Тот пациент?

— Тот самый, — я улыбнулась, хотя мама не могла этого

видеть. — Он сказал, что я похожа на ромашку.

— На ромашку? — мама засмеялась. — Странный мужчина. Ромашки — это цветы простые, деревенские.

— Мне нравятся ромашки, мам.

— Ну, если нравятся... — мама вздохнула. — Натали, ты только будь осторожна. Ты же врач, а он пациент. Это нехорошо может закончиться.

— Я знаю, мам.

— Я не хочу тебя обидеть, но ты у нас девочка серьезная, влюбчивая. Помню, как в школе ты влюбилась в этого... как его... Вовку? И ходила за ним, пока он не сказал, что ты... ну, не важно.

— Мам, мне было четырнадцать лет, — сказала я, чувствуя, как краснею.

— А характер с тех пор не изменился. Ты всегда отдаешься чувствам без остатка, вся в меня. А потом страдаешь. Я не хочу, чтобы ты страдала.

— Не буду, мам, — сказала я. — Он просто пациент. И ромашки — это просто цветы.

— Ну смотри, дочка. Я тебя предупредила.

Мы поговорили еще немного о пустяках — о погоде, о пироге, о том, что папа никак не может победить ржавчину в гараже. Я слушала мамин голос, смотрела на ромашки и чувствовала, как где-то внутри — там, где прячется та самая Натали, которую мама помнит с детства, — что-то шевелится. Что-то, чему я не давала выхода много лет.

Когда я положила трубку, за окном совсем расцвело. Солнце пробилось сквозь облака и залило ординаторскую бледным, но настоящим весенним светом. Лучи упали на стол, на карты, на кружку с ромашками, и цветы засияли, засветились изнутри, как маленькие солнца.

Я смотрела на них и думала: может быть, в этих ромашках действительно есть что-то большее? Может быть, не все в моей жизни измеряется давлением, пульсом и фракцией выброса? Может быть, есть вещи, которые не подчиняются протоколам и статистике?

Может быть, есть любовь, которая приходит не тогда, когда ты ее ждешь, и не в том обличье, которое ты себе представляла. Может быть, она приходит в виде скромного букета ромашек, купленных в ларьке у метро, и тихого голоса, который говорит: «Вы похожи на ромашку».

Я не знала ответов на эти вопросы. Я знала только, что сегодня 9 Марта, я заведующая кардиологическим отделением, у меня на столе стоят ромашки, а в пятой палате лежит мужчина, который научил меня смотреть на мир иначе.

Я взяла карту, открыла и начала писать. Но на этот раз мои мысли были не о назначениях и анализах. Они были о том, как пахнет поле, о чем молчат цветы и почему сердце бьется быстрее, когда ты слышишь шаги в коридоре.

Я писала и улыбалась. Сама не зная чему.

Ромашки стояли на столе и тихо светились в весеннем солнце.

Глава 2

Я не должен был здесь оказаться.

Эта мысль преследовала меня с той самой секунды, когда я открыл глаза в реанимации и увидел над собой белый потолок, белую лампу, белые лица склонившихся надо мной людей. Белый цвет всегда казался мне цветом чистоты, новизны, начала. В ту минуту он стал цветом поражения.

Тридцать четыре года. Я архитектор. Я строил дома, в которых люди будут жить, растить детей, встречать старость. Я проектировал парки, где будут гулять влюбленные, где дети будут запускать воздушных змеев, где старики будут сидеть на скамейках и кормить голубей. Я создавал пространства для жизни. А мое собственное тело в тридцать четыре года решило, что жизнь для меня закончилась.

Инфаркт. Слово, которое я всегда считал уделом пятидесятилетних мужчин с пивными животами и хронической одышкой. Не моим. Не моим, который в тридцать два пробежал полумарафон. Не моим, который до сих пор мог поднять два мешка цемента на третий этаж без лифта. Не моим.

Но факты — упрямая вещь. Они не спрашивают твоего мнения. Они просто есть. И факт был таков: я лежал в кардиологии, подключенный к мониторам, с капельницей в руке, и чувствовал себя разбитым, ненужным, выброшенным на обочину собственной жизни.

Год назад все было иначе. Год назад я был женат. У меня был дом — не тот, который я спроектировал для себя, а тот, в котором мы жили с Леной. Двухэтажная квартира в новостройке, панорамные окна, вид на город. Я сделал ремонт своими руками — каждый угол, каждую розетку, каждую плитку в ванной. Лена выбирала цвет стен — светло-серый, с акцентами бирюзы. Она говорила, что серый — это цвет спокойствия, а бирюза — цвет моря. Мы собирались поехать к морю тем летом. Не поехали.

Развод случился быстро. Как инфаркт — вроде бы все шло как обычно, а потом бах, и ты лежишь на холодном полу и не можешь дышать. Лена сказала: «Я больше не могу. Ты всегда на работе. Ты спишь с проектами, ты ешь проекты, ты говоришь во сне о строительных нормах и правилах. Я не хочу быть женой архитектора. Я хочу быть женой мужчины». Я тогда не понял. Мне казалось, что я все делаю правильно. Я строил будущее. Я обеспечивал. Я создавал. А она хотела, чтобы я был. Просто был. Рядом.

Она ушла к своему фитнес-тренеру. Серьезно. Мужчина с кубиками пресса и пустыми глазами, который знает три слова на русском: «присед», «выдох» и «еще раз». Она сказала, что с ним она чувствует себя живой. Я сказал: «Удачи». И остался один в квартире с панорамными окнами и серыми стенами, которые она выбрала.

После развода я ушел в работу с головой. Не потому, что мне так хотелось, а потому, что не мог оставаться наедине

с тишиной. Тишина в пустой квартире была громче любого звука. Она напоминала мне о том, что я не умею быть просто человеком. Я умею быть архитектором. Я умею чертить, считать, договариваться с подрядчиками, ругаться с заказчиками, стоять на стройке под дождем и чувствовать, как бетон застывает, превращаясь в стены. Я умею строить. Я не умею жить.

Проекты следовали один за другим. Жилой комплекс на набережной. Бизнес-центр в центре города. Парк в спальном районе — мой любимый проект, тот самый, который я вынашивал два года. Я работал по шестнадцать часов, забывал есть, забывал спать, забывал, что у меня есть тело, которое требует внимания. Кофе, сигареты, бессонные ночи, постоянный стресс — классический набор для инфаркта. Я знал это. Я не дурак. Но знание и действие — это разные вещи. Я знал, что бег полезен, но перестал бегать. Я знал, что нужно спать восемь часов, но спал четыре. Я знал, что стресс убивает сердце, но не мог перестать нервничать из-за сроков, из-за заказчиков, из-за подрядчиков, которые вечно все срывали.

Инфаркт случился на стройке. Вечер, темно, я проверял заливку фундамента. Поскользнулся на мокрой доске, упал на спину и вдруг почувствовал, что не могу встать. Не потому, что ушибся, а потому, что внутри, где-то глубоко в груди, разлилась боль — острая, сжимающая, как будто кто-то схватил мое сердце рукой и сжал. Я лежал на холодной земле, смотрел в небо и думал: «Ну вот. Доигрался».

Скорая приехала через пятнадцать минут. Эти пятнадцать минут были самыми длинными в моей жизни. Я смотрел на звезды — их было много, городская подсветка не мешала, потому что стройка находилась на окраине — и думал о том, что не успел. Не успел достроить парк. Не успел съездить к морю. Не успел сказать Лене, что она была права. Не успел понять, зачем вообще все это — дома, проекты, деньги — если в конце концов ты лежишь один на холодной земле и никто не держит тебя за руку.

Врачи скорой были профессионалами. Они сделали укол, поставили капельницу, загрузили меня в машину. В машине было тесно, пахло лекарствами и бензином, и я слышал, как один из фельдшеров сказал другому: «Передняя стенка, похоже. Доведем — повезет». Я тогда подумал, что «повезет» — это странное слово для человека, который только что понял, что смерть — это не метафора, а вполне реальная женщина в белом халате, которая уже протягивала ко мне руки.

В больнице я очнулся в реанимации. Надо мной склонилась женщина в хирургической шапочке, из-под которой выбивались светлые волосы. У нее были серые глаза и спокойный, ровный голос, который, наверное, мог бы успокоить даже землетрясение.

— Михаил Владимирович, — сказала она, и в ее голосе не было ни жалости, ни страха, только холодная, профессиональная уверенность. — Вы в городской больнице №14. У вас острый инфаркт миокарда. Мы начали лечение. Ваше со-

стояние тяжелое, но стабильное. Не пытайтесь говорить и не двигайтесь. Вам нужен полный покой.

Я попытался что-то сказать, но она приложила палец к губам — жест, который обычно используют с детьми, но в тот момент он показался мне уместным.

— Никаких вопросов, — сказала она. — Сначала лечение, потом разговоры. Сейчас вам нужно только одно — дышать. Ровно и спокойно. Сосредоточьтесь на дыхании. Я рядом.

Она взяла мою руку — холодную, влажную, дрожащую — и положила на нее свою. Ее рука была сухой и теплой. Я чувствовал ее пальцы на своем запястье — она считала пульс, наверное. Но мне казалось, что она просто держит меня за руку. И это было единственное, что удерживало меня на этой стороне.

— Дышите, — повторила она. — Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

Я дышал. Вдох. Выдох. С ней. В такт. И боль постепенно отступала, не уходила, но становилась терпимой, как будто ее голос обкладывал мое сердце льдом, примораживая к жизни.

Потом я потерял сознание. Или заснул — я не знаю. Но когда проснулся, она все еще была рядом. Сидела на стуле у моей кровати, смотрела на мониторы, что-то записывала в карту. Ее лицо было спокойным, но я заметил тени под глазами — она не спала всю ночь.

— Вы здесь? — спросил я. Голос прозвучал хрипло, чужо.

— Я здесь, — ответила она, не поднимая головы. — Ваше

состояние улучшается. Давление поднялось, пульс стабилен. Будем переводить вас в палату.

— Как вас зовут?

Она подняла голову, и я впервые увидел ее глаза в полном свете — серые, с темным ободком, очень чистые. В них не было той профессиональной отстраненности, которую я ожидал. В них было что-то другое. Что-то, что я не мог определить.

— Наталья Сергеевна, — сказала она. — Ваш лечащий врач.

— Наталья Сергеевна, — повторил я, пробуя имя на вкус. — Спасибо.

— Не за что, — она встала. — Это моя работа.

Она вышла, и я остался один. Но впервые за много месяцев одиночество не казалось мне тяжелым. Потому что в нем остался ее голос: «Дышите. Я рядом».

Первые дни в больнице были похожи на туман. Я плохо помню их — лекарства, температура, бесконечные уколы, заборы крови, кардиограммы. Я помню только ее.

Она приходила каждое утро — в семь, когда я еще не до конца просыпался, и вечером — перед тем, как уйти. Она разговаривала со мной коротко, по делу, без лишних эмоций. Но в ее голосе было что-то такое, что заставляло меня слушать, что-то такое, что пробивалось сквозь туман болезни и достигало той части меня, которая еще помнила, что я — человек, а не функция.

— Михаил Владимирович, как спалось?

— Михаил Владимирович, давление сто двадцать на восемьдесят, это хорошо. Продолжаем в том же духе.

— Михаил Владимирович, сегодня начнем легкую гимнастику. Не геройствуйте.

Она называла меня по имени-отчеству, строго и официально, но в том, как она это делала, было что-то личное. Что-то, что не вписывалось в рамки врачебного этикета. Может быть, пауза между «Михаил» и «Владимирович». Может быть, легкое изменение интонации. Может быть, мне просто казалось в бреду.

На третий день я попросил медсестру принести мне бумагу и карандаш. Она удивилась, но принесла — простой блокнот в клетку и механический карандаш. Я начал рисовать. Не проекты — нет, до проектов мне было далеко, я едва мог сидеть на кровати. Я рисовал то, что видел из окна. Крышу соседнего корпуса, голые деревья, кусочек неба. Это помогало. Когда я рисовал, я переставал думать о том, что мое сердце — теперь дефектное, неполноценное, сломанное. Я переставал думать о Лене, о стройке, о сроках, которые горят, пока я лежу здесь, бесполезный. Я просто водил карандашом по бумаге и пытался передать свет.

На четвертый день я нарисовал ее.

Это получилось случайно. Я сидел и смотрел в окно, но вместо крыши и деревьев перед глазами было ее лицо. Серые глаза, прямой нос, тонкие губы, светлые волосы, собранные в

хвост. Я начал рисовать, не думая, просто водя карандашом, и через час на бумаге появился портрет женщины, которая спасла мне жизнь.

Она была прекрасна. Не той броской красотой, которая заставляет мужчин оборачиваться на улице, а той внутренней, спокойной, которая видна не сразу. В ее лице была сила — не агрессивная, не подавляющая, а какая-то глубинная, как у дерева, которое растет на ветру и не ломается. Я смотрел на рисунок и думал: «Она похожа на ромашку».

Почему на ромашку? Я не знаю. Может быть, потому что в ее светлых волосах, собранных в хвост, было что-то от белых лепестков. Может быть, потому что в ее глазах был тот самый свет, который я видел в детстве, когда лежал на ромашковом поле и смотрел в небо. Может быть, потому что она была простой, настоящей, без пафоса и фальши — как ромашка.

Я спрятал рисунок под подушку. Не потому, что стеснялся, а потому, что он был моим. Только моим.

На пятый день я встал. Первый раз после инфаркта. Ноги дрожали, в голове шумело, сердце колотилось как бешеное. Но я встал. Сделал три шага до окна, опираясь на спинку кровати. Посмотрел на улицу. Шел снег — мартовский, мокрый, тяжелый. Но сквозь тучи пробивался солнечный луч, и он упал на подоконник, и на секунду мне показалось, что мир не такой уж серый.

Она зашла в палату, когда я стоял у окна. Увидела меня и нахмурилась.

— Михаил Владимирович, я же сказала — никакого геройства. Вы должны лежать.

— Я просто встал, — сказал я, не оборачиваясь. — Хотел посмотреть на снег.

Она подошла, встала рядом. Я чувствовал ее присутствие — тепло, запах лекарств и еще чего-то свежего, неуловимого. Она не прикасалась ко мне, но мне казалось, что я чувствую ее руку на своем запястье, как в ту первую ночь.

— Садитесь, — сказала она. — Вы еще не готовы стоять.

Я послушался. Сел на кровать, она села напротив — на стул, который стоял у тумбочки. Взяла мою руку, проверила пульс. Ее пальцы были прохладными и уверенными.

— Вы рисуете, — сказала она, кивнув на блокнот на тумбочке. — Мне сказали медсестры.

— Да. Это помогает.

— Что вы рисуете?

— Вид из окна. — Я не сказал про портрет. Не сейчас.

— Покажете?

Я взял блокнот, перелистнул несколько страниц, показывая ей наброски. Крыша, деревья, небо. Она смотрела внимательно, и я заметил, как ее глаза слегка расширились — то ли от удивления, то ли от узнавания.

— Вы хорошо рисуете, — сказала она.

— Я архитектор, — ответил я. — Это моя работа.

— Архитектор? — она подняла бровь. — И что вы строите?

— В основном жилые комплексы. Сейчас работаю над парком в спальном районе. Если, конечно, меня не уволят после того, как я пропал на две недели.

— Не уволят, — сказала она спокойно. — Здоровье важнее работы.

— Вы так говорите, — усмехнулся я. — А сами, я уверен, работаете по шестнадцать часов.

Она промолчала, и я понял, что попал в точку.

— Вот видите, — сказал я. — Врачи и архитекторы — мы из одного теста. Мы строим. Вы — здоровье, я — дома. И оба забываем, что сами тоже нуждаемся в ремонте.

Она посмотрела на меня с интересом, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на улыбку.

— Философ, — сказала она. — Это хорошо. Философы легче переносят болезни.

— Не легче, — возразил я. — Просто у них есть слова, чтобы описать боль.

— И какие же слова вы выбрали для своей боли?

Я задумался. Никто не спрашивал меня об этом. Никто не хотел знать, что я чувствую, когда лежу ночью без сна и слушаю, как стучит мое сердце — ровно, но с каким-то новым, пугающим оттенком, как будто оно напоминает мне: я могу остановиться. В любой момент.

— Одиночество, — сказал я наконец. — Я бы сказал, что моя боль — это одиночество.

Она не отвела взгляд. Не сказала дежурное «все будет хо-

рошо». Просто смотрела на меня, и в ее молчании было принятие. Она не пыталась меня переубедить, не пыталась утешить. Она просто была рядом. И этого было достаточно.

— Вы разведены? — спросила она.

— Да. Год назад.

— Детей нет?

— Нет. Не успели. Или не захотели. Я до сих пор не понял.

Она кивнула, и в этом кивке не было жалости — только понимание.

— Вы справитесь, — сказала она. — Сердце — это мышца. Ее можно тренировать. А одиночество — это состояние. Его можно менять.

— Вы верите в это? — спросил я.

— Я врач, — ответила она. — Я обязана верить в то, что все можно вылечить. Иначе зачем мне эта работа?

Она встала, поправила халат.

— Отдыхайте, Михаил Владимирович. Завтра начнем расширять режим. Будете ходить по коридору.

— Под вашим присмотром? — спросил я.

— Под присмотром медсестры, — поправила она. — У меня есть и другие пациенты.

Она вышла, а я остался сидеть, глядя на закрытую дверь. Впервые за долгое время я чувствовал не пустоту, а что-то похожее на надежду. Маленькую, хрупкую, как росток, пробивающийся сквозь асфальт. Но надежду.

Я достал из-под подушки рисунок, посмотрел на него. Ее

лицо смотрело на меня с бумаги — спокойное, серьезное, красивое. Я провел пальцем по контуру щеки, по линии губ, по светлым прядям волос.

«Вы справитесь», — сказала она. Может быть, и справлюсь. С ней — справлюсь.

Дни шли. Я учился ходить заново — сначала по палате, потом по коридору. Я учился есть по расписанию, принимать лекарства, измерять давление. Я учился жить в режиме, который был мне чужд. Я всегда жил на скорости, на адреналине, на «еще пять минут и я закончу». А теперь мне говорили: «Остановись. Дыши. Не торопись».

Это было трудно. Труднее, чем я думал. Я сидел на кровати, смотрел в окно и чувствовал, как внутри меня закипает злость. Злость на себя, на свое тело, которое подвело меня. Злость на Лену, которая оставила меня одного. Злость на работу, которая выжала меня досуха. Злость на этот мир, который требует от тебя быть быстрым, сильным, успешным, а потом наказывает за то, что ты таким был.

Я был зол. Я был угрюм. Я не разговаривал с соседями по палате, когда меня перевели в общую. Я отвечал односложно на вопросы медсестер. Я смотрел в одну точку и думал о том, как все несправедливо.

Но когда она заходила в палату, злость отступала.

Не сразу. Сначала я хмурился, отворачивался к стене, делал вид, что сплю. Но она не обращала внимания. Она делала свое дело — мерила давление, слушала сердце, проверя-

ла карту. И делала это так, как будто мое плохое настроение было просто еще одним симптомом, который нужно лечить.

— Михаил Владимирович, — сказала она однажды, когда я в очередной раз демонстративно отвернулся к стене. — Я понимаю, что вы злитесь. Это нормально. После инфаркта многие пациенты проходят стадию гнева. Но я хочу, чтобы вы знали: ваше сердце не виновато. Вы сами его довели. И теперь вам нужно не злиться, а учиться жить по-другому.

— Как? — спросил я, не поворачиваясь. — Как жить по-другому, если я всю жизнь только и делал, что строил? Если я не умею просто сидеть и ничего не делать?

— Научитесь, — сказала она спокойно. — У вас нет выбора.

— А если я не хочу? — я повернулся, и в моем голосе прозвучала та самая злость, которую я копил все эти дни. — Если я не хочу быть слабым, беспомощным, лежать здесь и ждать, когда меня выпишут, чтобы вернуться в пустую квартиру, где меня никто не ждет?

Она посмотрела на меня. Без страха, без обиды. Просто посмотрела — своими серыми, спокойными глазами.

— Вы не слабый, — сказала она. — Вы живой. И это уже много. А что касается пустой квартиры... — она помолчала, — пустота заполняется. Не сразу, но заполняется. Главное — не закрываться от мира. Вы талантливый человек, Михаил Владимирович. Вы строите дома, в которых людям будет хорошо. Вы создаете красоту. Неужели вы думаете, что та-

кой человек обречен на одиночество?

Я молчал. Я не знал, что ответить. Она говорила то, что я должен был сказать себе сам, но не мог, потому что злость застила глаза.

— Вы слышали, что я сказала? — спросила она.

— Слышал, — ответил я глухо.

— Хорошо. Теперь дышите. Глубоко. Вдох — раз, два, три. Выдох — раз, два, три.

Я дышал. Она считала. И злость отступала — не сразу, но отступала, оставляя после себя что-то другое. Что-то, что я не мог назвать. Может быть, благодарность. Может быть, уважение. Может быть, что-то большее.

— Спасибо, — сказал я, когда дыхание выровнялось.

— Не за что, — она встала. — Это моя работа.

— Вы всегда так говорите, — заметил я. — «Это моя работа». Как будто вы не человек, а функция.

Она посмотрела на меня с легким удивлением.

— А разве не так? — спросила она. — Я врач. Моя работа — лечить. Все остальное — не важно.

— Важно, — сказал я. — Вы важны. Не только как врач. А как человек.

Она замерла на секунду. В ее глазах мелькнуло что-то — удивление, может быть, или смущение. Но быстро исчезло, сменившись привычной профессиональной маской.

— Отдыхайте, Михаил Владимирович, — сказала она и вышла.

А я остался сидеть, глядя на закрытую дверь, и думал: «Почему она так говорит? Почему она считает, что не важна как человек? Кто ей это внушил?»

Я не знал ответов. Но я хотел их узнать.

День 8 Марта я встретил в палате. Медсестры ходили с цветами, кто-то из пациентов получил поздравления от родственников. Я не ждал ни звонков, ни сообщений. Лена не поздравила — и правильно, зачем? Мои родители живут в другом городе, они позвонили утром, мама говорила долго, волновалась, я отвечал односложно. Они предлагали приехать, я сказал, что не нужно. Не хотел, чтобы они видели меня таким — слабым, разбитым, лежащим на больничной койке.

Я сидел на кровати, смотрел в окно и думал о том, что 8 Марта — это праздник весны, а у меня внутри зима, которая, кажется, не закончится никогда.

А потом она пришла.

Она зашла в палату в своем белом халате, с фонендоскопом на шее, и я сразу заметил, что сегодня она выглядит иначе. Не потому, что изменилась внешне — тот же халат, тот же хвост, те же серые глаза. Но в ней было что-то другое. Какая-то неуловимая мягкость, которой я раньше не замечал.

Она подошла к моей кровати, взяла карту, спросила о самочувствии. Я ответил, что нормально. Она кивнула, сделала пометки. И вдруг сказала:

— Сегодня праздник. Я хочу вас поздравить.

— Меня? — удивился я. — 8 Марта — это женский день.

— А я поздравляю всех пациентов, — ответила она. — Мужчин — с тем, что они есть. Женщин — с праздником.

Она говорила ровно, спокойно, но я заметил, как ее пальцы слегка сжали карту.

— Наталья Сергеевна, — сказал я. — Вы сегодня работаете.

— Да.

— В праздник.

— Для меня это обычный рабочий день.

— Вам дарят цветы?

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Не ожидала, — сказала она. — Откуда?

— Просто спросил. Вам дарят?

— Пациенты иногда дарят. Но это не обязательно.

Она сказала это так, будто цветы — это что-то неважное, второстепенное. Будто она привыкла, что ей не дарят цветов. И в этот момент во мне что-то щелкнуло. Я вспомнил, что утром, когда медсестра Настя выходила в аптеку, я попросил ее купить цветы. Она удивилась, спросила: «Кому?». Я сказал: «Наталье Сергеевне. Скажите, что от пациента из пятой палаты».

Я не знал, купит ли она. Не знал, понравятся ли цветы. Но когда Настя пришла и протянула мне маленький букетик, завернутый в целлофан, я понял — это то, что нужно. Ромашки. Белые, скромные, с желтыми серединками. Они на-

помнили мне о поле, о детстве, о том свете, которого мне так не хватало. Они напомнили мне о ней.

— Подождите, — сказал я, когда она повернулась, чтобы уйти.

Она остановилась.

Я протянул руку к тумбочке, достал букет. Она посмотрела на цветы, и в ее глазах я увидел то, чего не ожидал. Растерянность. Настоящую, живую растерянность. Эта женщина, которая каждый день смотрела в лицо смерти и не моргая, эта женщина, чей голос мог остановить землетрясение, растерялась при виде скромного букета ромашек.

— Это вам, — сказал я. — С праздником.

— Михаил Владимирович... — начала она.

— Не отказывайтесь, — перебил я. — Они недорогие. Но мне показалось, что они... ну, они похожи на вас.

— На меня? — ее голос дрогнул. Я заметил это. Заметил, как она сглотнула, как ее пальцы сжали карту.

— Да. Ромашки. Они простые, светлые, без пафоса. Но в них есть что-то такое... — я запнулся, подбирая слова, — что заставляет сердце биться ровнее. Когда я смотрю на них, я чувствую, что все будет хорошо. Так же, как когда вы входите в палату.

Она стояла и смотрела на меня, и в ее глазах было что-то, что я не мог прочесть. Удивление? Боль? Надежду? Я не знал. Но я знал, что не ошибся. Эти цветы — для нее.

— Спасибо, — сказала она наконец. Голос был тихим,

почти шепотом. — Спасибо, Михаил Владимирович. Это очень... неожиданно.

Она взяла букет, и я увидел, как ее пальцы осторожно коснулись лепестков. Она держала цветы так, будто они были хрупкими, как стекло. Будто боялась их сломать.

— Не за что, — сказал я. — Вы заслуживаете цветов. И не только ромашек.

Она посмотрела на меня, и в ее взгляде было что-то, что заставило мое сердце — то самое, сломанное, дефектное — биться чаще. Не от болезни. От чего-то другого.

Она ушла, унося с собой ромашки. А я остался сидеть на кровати и чувствовать, как внутри меня, там, где была злость и пустота, начинает прорасти что-то новое. Что-то, чему я не знал названия.

Я достал из-под подушки рисунок, посмотрел на него. Ее лицо, ее глаза, ее волосы. Я водил пальцем по карандашным линиям и думал: «Что ты со мной делаешь, Наталья Сергеевна? Кто ты? Врач? Женщина? Ромашка?»

Я не знал ответа. Но я знал, что хочу узнать. Хочу узнать все. Кто она, чем живет, почему так серьезно смотрит, почему говорит, что «остальное не важно». Хочу узнать, почему она поставила мои ромашки в кружку на своем столе — я видел, когда проходил мимо ординаторской. Хочу узнать, почему, когда она рядом, я перестаю злиться на мир.

Я хочу узнать, возможно ли, чтобы человек, который считал себя мертвым внутри, ожил.

Я положил рисунок на тумбочку, лег и закрыл глаза. В голове крутились мысли, но они были не злыми, не тяжелыми. Они были светлыми, как ромашки. Я думал о том, что, может быть, этот инфаркт был не наказанием. Может быть, это был шанс. Шанс остановиться, оглянуться, понять, что я потерял, и начать искать то, что обрету.

Я заснул с мыслью о серых глазах и ромашках. И мне приснилось поле — большое, белое, бесконечное. И я шел по нему босиком, и трава щекотала ноги, и солнце светило в лицо. А вдалеке стояла женщина в белом халате, и я шел к ней, и сердце мое билось ровно и спокойно, как никогда раньше.

Когда я проснулся, за окном было серое утро, моросил дождь, и я был в больнице. Но внутри меня что-то изменилось. Злость ушла. Осталась только надежда.

Я сел на кровати, взял блокнот и карандаш и начал рисовать. Ромашки. Много ромашек. Поле, которое я видел во сне. И в центре — ее. Мою Наталью Сергеевну. Мою ромашку.

Я рисовал и улыбался. Впервые за много месяцев — настоящему.

За окном шел дождь, но я знал: весна придет. Обязательно придет. Потому что я жив. Потому что я здесь. Потому что она есть.

И это было важнее всех проектов, всех домов, всех парков, которые я когда-либо строил.

Глава 3

После праздника что-то изменилось. Я не могла определить это словами — не могла вычленить, проанализировать, разложить на составляющие, как привыкла делать с кардиограммами и анализами. Это было неуловимое, как запах весны, который чувствуешь за день до того, как распустятся первые листья. Что-то сдвинулось в воздухе, в свете, в том, как я открываю глаза по утрам и как засыпаю по ночам.

Ромашки стояли на моем столе в ординаторской. Я могла бы их выбросить — они уже начали вянуть, кончики лепестков стали прозрачными, стебли чуть поникли. Но я не выбрасывала. Каждое утро я меняла воду, подрезала стебли, переставляла кружку так, чтобы цветы смотрели на меня. Это было нерационально. Это было сентиментально. Это было по-женски, а я давно запретила себе быть просто женщиной на работе.

Но ромашки стояли. И каждый раз, когда я поднимала глаза от карт, они напоминали мне о том, что случилось 8 Марта. О том, как он протянул мне букет. О том, как сказал: «Вы похожи на ромашку». О том, как смотрел — спокойно, без напора, но так, что мне захотелось отвести взгляд. Я не отвела. Я не умею отводить взгляд. Это не в моем характере. Но в тот момент я поняла, что есть вещи, которые сильнее характера.

Я ловила себя на этом снова и снова. На том, что думаю о нем не как о пациенте. На том, что захожу в его палату чаще, чем требуется по обходу. На том, что нахожу причины задержаться — проверить давление лишний раз, уточнить, как спалось, посмотреть на показатели монитора, хотя все данные уже были в карте.

Я оправдывала это перед собой профессиональной заботой. Пациент после инфаркта, состояние стабильное, но требует наблюдения. Он пережил тяжелый стресс, у него нет родственников в городе, он нуждается в психологической поддержке. Я — его лечащий врач. Это моя работа. Это моя работа. Это моя работа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.